

Прости...

Автор:

Януш Вишневский

Прости...

Януш Леон Вишневский

Януш Вишневский вновь рассказывает нам пронзительную историю любви и драматическую историю жизни – на этот раз от лица мужчины. Внезапно открывшаяся измена жены толкает мужа на отчаянный и страшный шаг. Слепая жажда мести, роковые выстрелы – и жизнь Винсента уже никогда не будет прежней. Как простить предательство, пережить утрату и возможно ли искупить тяжкий грех одним лишь раскаянием? Но даже из такой темной безысходности Вишневский вновь выводит нас к свету – он глубоко убежден, что Любовь сильнее смерти.

Сюжет книги основан на реальных событиях – в 1991 году в Кракове был застрелен Анджей Зауха, популярный джазовый певец и музыкант. Спутница музыканта Зузанна Лесьняк скончалась в машине «скорой помощи» по дороге в госпиталь. Обоих застрелил муж Зузанны. Януш Вишневский пересказывает эту трагическую историю в своей непревзойденной манере – исследуя души, глубоко погружаясь в человеческие чувства.

Януш Вишневский

Прости...

Janusz Leon Wisniewski

I ODPUSC NAM NASZE...

© Copyright by Janusz Leon Wisniewski 2015

© Copyright by Od Deski Do Deski, Warszawa 2015

© Чайников Ю., перевод, 2016

© ООО «Издательство АСТ», издание на русском языке, 2016

* * *

Вот уже пятнадцать лет его преследует один и тот же сон...

Сначала тишина. Абсолютная, оглушающая. Ее внезапно разрывает пронзительный свист: вдали поднимается столб пыли, закручивается в вихре, серым туманом просачивается сквозь кусты и долетает до парковки. Огибает машины, свивается в кольца, поднимается, падает, делится на части, а потом снова собирается в клубок, раздувается, разрастается. И в тот самый момент, когда добирается до нее, мрачная туча останавливается и превращается в лениво вертящийся и клонящийся во все стороны конус изо льда и снега. Конус вертится все быстрее и быстрее, трещит, хрустит, грохочет, рвется в клочья, рассыпается, словно петарда, искрами и медленно угасает, опадая на нее белоснежным кружевом свадебного платья.

И тогда раздаются выстрелы. Три выстрела. Или четыре. Он инстинктивно зажмуривается, втягивает голову в плечи, зажимает уши, пригибается и в страхе падает на бетонные плиты парковки. Тут же вскакивает и бросается наутек и, лишь заметив, что к нему приближаются две женщины, останавливается. Женщина в черной юбке и расстегнутой черной кожаной куртке сначала идет медленно, вытянув вперед руки, потом прибавляет шаг и наконец переходит на бег, бежит что есть сил к нему навстречу, бежит и кричит:

– Вин, не делай этого! Вин, умоляю тебя! Вин!

А та, вторая, в своем только что сотканном из тумана платье, молитвенно сложив ладони, так наклоняется вперед, что того и гляди упадет. Мгновение

спустя она расцепляет ладони, ее руки безвольно падают вдоль тела и болтаются как у повешенной. На гладком шелке платья, над правой грудью появляется складка. Поначалу маленькая, почти невидимая, но с каждой секундой становящаяся всё больше и больше, она краснеет, наливается, разбухает и вдруг прорывается, как надрезанный острым скальпелем нарыв. Брызжащая кровь льется широкими струями по платью. Он подбегает к женщине и хватает за руки, не давая ей упасть. А она смотрит ему в глаза и кротко улыбается. Беззвучно шевелит губами. Он медленно садится на выщербленную мостовую, кладет ее голову к себе на колени, пытаясь ладонями унять кровь, с бульканьем хлещущую из огромной рваной раны. В тот же миг его пронизывает острая боль. Он стискивает зубы, чтобы не закричать, поднимает голову: другая женщина, та, что в черной кожаной куртке, спотыкается о его выставленные ноги и падает, со всего маху ударяясь головой о бетонные плиты. Чуть позже она пытается встать и – то на четвереньках, то ползком – добраться до большой белой машины, около которой лежит мужчина. Он лежит бездвижно на левом боку, его ноги неестественно вывернуты, глаза открыты, в них удивление. В двух-трех шагах от него, чуть левее, еще один мужчина. Этот стоит. В вытянутой вперед руке держит какую-то продолговатую штуковину, обернутую в блёклый пластиковый пакет из супермаркета. Слышится шорох пакета, резкий лязг металла, за которым следуют несколько выстрелов. Голова лежащего перед машиной при каждом попадании в нее пули подсакивает, еще шире открываются его выражающие безграничное удивление глаза, а после – беспомощно упавшая на плечо голова взрывается, брызжа во все стороны струями красно-ржавой маслянистой взвеси из крови, ошметков мяса, прядей волос и осколков костей. Потоки этой жуткой жижи вырываются из обезглавленного тела мужчины и собираются в ручей, постепенно заливающий всю парковку. Кровянистая волна с хлюпаньем добирается до стоящей на коленях женщины в черной куртке, и та утыкается лицом в мостовую. Какое-то время слышится ее громкое прерывистое сопение, сменяющееся жалобным стоном и завершающееся хрипами. Потом наступает мертвая тишина, которую разрезает оглушительный вопль:

– Боже-е-е!!!

И только тогда он просыпается: весь в поту, содрогаясь в конвульсиях, словно эпилептик, отчаянно пытаясь заткнуть уши, он как безумный впивается зубами в подушку, одеяло, простыню или матрас...

Вот и сегодня опять тот же сон, опять те же видения – всё такие же яркие и подвижные, всё так же потрясающие воображение. С той лишь разницей, что после всех этих лет само пробуждение стало другим. Сейчас это происходит значительно быстрее, практически моментально. Он научился улавливать сознанием момент пересечения границы между сном и реальностью. А еще он научился быстро унимать конвульсии, затыкая себе рот подушкой, одеялом или рукой. Он пробуждается от этого сна весь в поту, с ощущением ужаса, как всегда внезапно, но – главное (с некоторых пор для него это стало самым главным) – почти бесшумно. Он не закрывает глаза, не бежит куда-то в темноту зажмурившись. Нет. Он сразу фиксирует свой взгляд на свете ночника, без которого вот уже много лет он не ложится спать. Он давно заметил, что на внезапный яркий свет он реагирует так же, как запертые в клетке и жестоко истязаемые научными экспериментами хомячок или мышка реагируют на поражение током от прикрепленного к их голове электрода: застывает в абсолютной неподвижности, не издавая ни звука.

Давным-давно, еще в вонючей от сырости камере следственного изолятора, он после такого пробуждения, когда проходили конвульсии и затихало его невнятное бормотанье, долго пребывал в каком-то дурмане. Одеревеневший, неподвижный, уставившийся в одну точку на стене, не реагирующий ни на голос, ни на крик, ни на тряску за плечи, ни даже на обливание холодной водой. Полная отключка. Поначалу он пугал разбуженных сокамерников своими припадками, сменявшимися продолжительным, абсолютно для них непонятным трупным небытием. Когда же наконец он приходил в себя и начинал соображать, где находится, что здесь делает, и в очередной раз выслушивал в подробностях рассказы о том, «как он клёво только что отрывался», он, как мальчик, который только что получил нагоняй, прятал взгляд, что-то бормотал в свое оправдание и долго извинялся.

Трудно приходится болезненно и неизлечимо терзаемому угрызениями совести, да еще такому умному – каковым его считали сокамерники – в обычной жизни, а уж в камере стократ труднее, особенно когда душевные муки не дают спать по ночам. В одну из таких ночей он стал невольным свидетелем разговора соседей по нарам, а вернее, монолога одного из них, самого пожилого заключенного в камере, с самым большим сроком, Антека-Остро-Стёклышко. А звали его так потому, что когда-то в припадке пьяной ярости он осколком оконного стекла перерезал горло мужу своей сестры, когда она, очередной раз отпетеленная до потери чувств, с сотрясением мозга, с вышибленным глазом, отбитыми почками и порванной селезенкой, оказалась в больнице и через неделю, не приходя в сознание, умерла. Трудно было поверить, что пан Антоний – воплощение

смирения, миролюбия и бесконечной доброты – мог кого-то стеклом да по горлу. Неторопливый, флегматичный, прежде чем что-нибудь сказать, он долго раздумывал. А если говорил, то медленно и очень тихо, чуть ли не шепотом. Тем не менее все слушали его внимательно, и никто не отваживался прервать. И еще одна особенность: в речи своей он никогда не переходил на феню (и это было странно, если учесть, как долго он находился за решеткой), хотя прекрасно ее знал. Писем он не получал, на свидания его не вызывали. Ну и в споры он никогда не влезал, а когда его задевали или иногда, чисто чтоб спровоцировать, специально оскорбляли, он не реагировал и, как правило, уходил в дальний угол камеры с газетой или книгой и читал. Совершенно нереально представить себе, что такой человек мог кому-то перерезать горло. Но все было именно так. Говорили, что Антек-Остро-Стёклышко так долго и сосредоточенно резал горло своего зятя, что стекло остановилось только на какой-то кости. Так он даже не заметил, как отрезал себе половину большого пальца и почти весь указательный. Видать, хотел удостовериться, что этот гад копыта откинул. Говорили, что, прежде чем начать отрезать голову, он то ли оглушил, то ли убил зятя кайлом, кастрировал его и только потом принялся резать горло. А еще ходили легенды, что, прежде чем уложить покойника в гроб, трупу пришили голову, чтобы попал на тот свет в более или менее целом виде. Когда легавые на следующий день прикатили к нему домой – потому что дело было ночью, – то увидели седого как лунь мужика. Протрезветь еще не успел, а вот поседел очень даже основательно. Так говорили. И это было чистой правдой, даже несмотря на то, что каждый раз этот случай каждый новый рассказчик излагал по-своему: вроде то же самое, только каждый раз – новый рассказ, новая история. Тем не менее факт остается фактом: у Антека-Остро-Стёклышко на месте большого и указательного пальцев были обрубочки и через всю правую ладонь проходил толстый шнур рваного шрама, а уж седым он был таким, что седеет, кажется, и не бывает.

У Антека была одна-единственная сестра, опекуном которой он стал после смерти родителей. Когда она появилась на свет, он был уже, можно сказать, взрослым. Ему было тогда семнадцать лет, и он учился в техникуме на автомеханика. По окончании техникума его призвали в армию, в подразделение, дислоцированное в Колобжеге. У родителей был загородный садовый участок с домиком, где они часто оставались на ночь. Конец октября в тот год выдался особенно холодным, поэтому родители перед тем, как лечь спать, разожгли чугунную печь. А не знали того, что выведенная наружу труба забита листвой. Антек, как раз в то воскресенье получивший увольнительную, нашел их уже холодными. Угорели. А сестренке Мартинке тогда было только три годика. Его комиссовали как «единственного опекуна в семье», хоть и не очень хотели это

делать и раз за разом отклоняли его ходатайства. «Капрал Антоний П. – лучший механик в бригаде, принимает активное участие в поддержании автопарка нашего подразделения в боевой готовности, что существенно влияет на повышение уровня обороноспособности нашей Родины и вносит вклад в обеспечение ее безопасности». Вот к какому мудреному патриотическому вранью прибегали в корреспонденции с командованием округа, к которому относилась часть в Колобжеге. Копии этих посланий ему вручали на перекличке. Он не знал, что регулярные и по первому вызову ремонты разбитого «полонеза» командира части имеют что-то общее с «безопасностью Родины». Вопрос решительно закрыло Управление социального страхования (УСС), которое быстро сообразило, что «затраты на выплату родительской пенсии и помещение малолетней сестры страхователя в учреждение социальной опеки значительно превышают затраты на пребывание страхователя в воинском подразделении». Патриотизм и «полонез» генерала проиграли в битве с одним-единственным письмом всемогущего УСС, и таким образом капрал Антоний П. совершенно неожиданно морозным декабрьским утром был отправлен генералом (тем, у которого «полонез») в запас. УСС понимало, что не отбоярится от долголетних выплат родительской пенсии, но каким-то таинственным образом узнало о прошениях капрала Антония П. и моментально подсчитало, что может прилично сэкономить на возможных будущих расходах, если «материальную опеку над ребенком примет на себя один из родственников или свойственников». Подсчитать всё это было не таким уж трудным делом, потому что капрал Антоний П. в своих рапортах в качестве единственной причины просьбы о выходе в запас приводил свое решение принять опекунство над своей малолетней сестрой. До сих пор неизвестно, каким образом работники УСС получили доступ к рапортам капрала Антония П., которые сами по себе формально считаются военной тайной. Не менее загадочным было и то, что рядовой служащий по части страхования смог повлиять на приказы, отдаваемые генералом польской армии.

* * *

Не только Антек-Остро-Стёклышко был быстро вычислен УСС. Как-никак он польский гражданин, и в случае польского гражданина это в какой-то мере понятно. С первых дней пребывания в Польше, когда это была еще Польская Народная Республика (Винсент научился писать это название без ошибок и произносить без акцента еще во Франции – для большей уверенности – перед визовым собеседованием в польском посольстве в Париже), Винсент убедился в том, что польское УСС – удивительно четко работающее учреждение. Во всяком

случае во всем том, что касается слежки, ибо во многом другом оно было и по сей день остается катастрофически беспомощным. Но зато его сотрудники сидят в роскошных дворцах, окруженных большими охраняемыми парковками для шикарных представительских лимузинов. В этом отношении французский URSSAF – аналог польского УСС – может тихо отойти в сторонку. Когда он, скромный, а если уж совсем точно – бедный, стипендиат прибыл в 1987 году в рамках польско-французского обмена из Нанта в Краков, чтобы учиться в краковской Государственной Высшей театральной школе, он лично убедился в том, что УСС видит всё. В первое время он жил по гостиницам или ночевал у разных знакомых, по самым разным адресам. Но это только первые три недели, потому что потом он снял однокомнатную квартиру в панельном доме в одном из пролетарских районов Кракова, в Новой Гуте. В один прекрасный день в театр – а тогда как раз шли репетиции – появились два здоровяка в черном. Их сопровождала пожилая стройная седовласая женщина. Качки в черном работали в УСС, а женщина оказалась привлеченной для этого случая переводчицей. Ребята держались уверенно, по-хозяйски, она же была очень смущена, чтобы не сказать, что испытывала чувство жгучего стыда. При активном участии всех задействованных в репетиции актеров и приведенной в театр переводчицы ему пришлось заполнить многостраничный формуляр. Почувствовал себя преступником, когда его публично, при всех обвинили в «систематическом уклонении от выплаты страховых взносов путем систематического невыполнения обязанности регистрироваться по месту проживания». Парни из УСС долго ему объясняли, что такое их организация, что это ни в коем случае не польский аналог КГБ и поэтому нечего бояться, что это очередная «польская паранойя». А стало быть, и нет нужды звонить во французское посольство с просьбой о правовой помощи.

– Это после всего-то неполных трех недель по приезде в Польшу?! Избегает?! Систематически?! Люди, придите в себя, мать вашу! У вас, видать, совсем крышу снесло. Да и вообще, кто вас впустил сюда?! – вдруг услышал он громкий голос, доносившийся из зала, с задних рядов.

На сцене воцарилась тишина. Он повернул голову и увидел стоявшую на ступеньках у последних кресел партера молодую женщину. В собранные в пучок темные волосы воткнуты солнцезащитные очки, в руке – черная кожаная куртка, через плечо – зеленая брезентовая сумка. Она быстро спустилась по ступенькам, уверенно подошла к обоим мужчинам в черном и, встав перед ними в бойцовскую стойку (ну, разве что руки в карманах вельветовых брюк), сказала:

– По какому такому праву все кому не лень шатаются по театру? Это позволено только пожарным, да и то по специальному разрешению директора театра. Или госбезопасности. Ну, эти могут вообще всё, даже без разрешения. Но если бы вы были ими, то, скорее всего, оказались бы в бюро «Солидарности» на третьем этаже, а не здесь. А может, весь этот ваш УСС только крыша? Может, вы, господа, по поводу страховки социализма на театральных подмостках, а? Нехорошо получается, господа, очень плохо, – продолжила она с хорошо поставленной иронией в голосе. – Не даете возможности трудовой интеллигенции нормально работать, чтобы было чем заплатить вам взносы на свои будущие мизерные пенсии и чтобы рабочий класс мог встретиться с настоящим искусством. Этим я хочу уважаемых господ раз и навсегда проинформировать, что спектакли для публики, не исключая сотрудников УСС и госбезопасности, мы играем по вечерам, о чем все культурные люди в Кракове знают еще с конца войны. К тому же, да будет вам известно, этот театр застрахован с незапамятных времен. Впрочем, без всякой пользы для себя, зря страховали: за кражу со взломом из реквизиторской – а это имело место еще тогда, когда я ходила сюда студенткой первого курса – то есть бог знает когда, – вы не заплатили до сих пор.

Оба мужчины, совершенно ошарашенные этой неожиданной тирадой и взрывами хохота, долетавшего со сцены, попритихли. Один из них спрятал листки заполненного формуляра в коричневую папку и, не говоря ни слова, направился к боковому выходу рядом со сценой. Второй что-то зло шепнул переводчице, с ненавистью взглянул на стоявшую перед ним девушку, развернулся и последовал за коллегой. В этот момент со сцены грянул гром аплодисментов.

Переводчицу никто не просил, но все это время она, повинувшись профессиональной привычке, нашептывала ему на ухо перевод монолога девушки. Он помнит, какое воодушевление он испытал, восхищаясь смелостью молодой женщины. Он повнимательнее всмотрелся в нее и понял, что где-то раньше ее видел. Может, на улице, может, в трамвае, может, в столовой, а может, где-нибудь в коридорах театральной школы, которая была не такой уж и большой.

То, что разыгралось перед его глазами, прекрасно вписывалось в тот образ поляков, какой он взлелеял в себе за все эти годы. Непокорные, своенравные, независимые, всегда в непримиримой оппозиции к системе, в которой им приходится жить и работать. Они ни перед кем не склоняли головы, никогда не лезли в подданство, не считая веков их порабощения, неволи, разделов или

ликвидаций их государства. Когда с забастовок в Гданьске началась эта беспрецедентная польская «августовская революция», ему было двадцать лет. Внезапно французские СМИ – радио, телевидение, газеты – запестрели словом «Solidarite», а через несколько месяцев практически все сменили его на хрустяще-шипящее труднопроизносимое польское слово «Solidarnosc». Потому что это последнее значило гораздо больше, чем просто солидарность. Переведенное на французский слово «солидарность» переставало передавать сущность и значение невиданного до сей поры явления, которое стояло за ним. Перевод лишал слово силы, а явление – свойственной ему символики. Некоторые вещи остаются в памяти и вызывают соответствующие ассоциации лишь тогда, когда они правильно названы. Одни эмоции вызывает слово «поцелуй» и совершенно другие – «французский поцелуй». А тогда все вдруг в его родном Нанте нацепили на лацканы пиджаков и на кофточки значки «Солидарности», прикрепляли к своим авто наклейки с самыми разными текстами, часто не имеющими ничего общего с «Солидарностью», но написанные красной «солидарицей», как в обиходе называли шрифт, представляющий собой опирающиеся друг на друга и стоящие тесным рядком буквы, которые, кажется, неудержимо устремились вперед. Польша и «Солидарность» воспринимались во Франции как две сестры, а виды гданьской судоверфи и польских улиц в телевизионных репортажах и на фотографиях с первых полос газет лишь укрепляли всех в этом мнении.

Вот эти-то картинки и распалили его воображение. То, что происходило в Польше, стало для него с некоторых пор чем-то вроде сценария, писанного на его глазах рукой Истории, сценария монументального действия, поставленного на сцене Жизни без репетиций. Со всеми атрибутами, необходимыми для хорошей драмы. С пафосом, резкостью слов, чуть ли не жертвенной религиозностью, противостоящей идеологии безбожности, с ненавистью, надеждами, страхом, дерзостью, тщеславием, со слезами и безумным смехом, с криком и молчанием, завистью, угрозами, манипуляциями, пропагандой, с бесчисленными толпами статистов и с несколькими актерами, выразительно исполнявшими главные роли вокруг одного харизматичного солиста – смышленного, ловкого визионера из народа, электрика по профессии, без образования. Иногда вспыльчивого, не контролирующего свою речь человека, иногда терпеливого неразговорчивого стратега. Но самое главное – тогда никто не знал, что будет в последнем акте этой драмы.

Он хотел быть поближе к сцене. Вбил себе в голову, что он обязательно должен принять участие в этом перформансе или хотя бы посидеть в зале, в первом ряду. То был период вакуума в его жизни. Проучился только год на факультете

литературы. Скука, бросил. Сколько помнил себя, его всегда привлекал театр. Не только актерство. Уже в гимназии он играл в школьных спектаклях. А некоторые даже сам режиссировал. Вернулся к этой своей страсти. Хотел получить образование в этой области. Время от времени подрабатывал актером, не связанным никакими контрактами, временными рамками, отпусками. Начал свои поездки в Польшу. Осваивался с пространством, знакомился с людьми и всё больше видел в этой стране подходящее для себя место. Он самозабвенно окупился в изучение польского языка. Установил спутниковую антенну и смотрел телепрограммы польских каналов. Привозил из Польши видеокассеты с польскими фильмами и театральными постановками. Искал встреч с поляками в Нанте. Он, атеист, стал ходить в польский костел, который тогда был единственным местом, вокруг которого организовывалась жизнь польской диаспоры. Иногда там, в костеле, он даже подумывал, не стоит ли уверовать в Бога. И пусть, считал он, религия – это давно изжившая себя доктрина, построенная на весьма сомнительных спекуляциях, но зато как хорошо она объединяет людей. А когда появилась возможность обмена стипендиатами с Краковом, у него не осталось ни малейших сомнений, что сама судьба протягивает ему руку помощи. Если бы его спросить сегодня, почему он выбрал именно Польшу, он без колебаний ответил бы: «Потому что там была „Солидарность”».

Благодаря удивительнейшему стечению обстоятельств слово «Солидарность» прозвучало также и в тот самый достопамятный день, когда в определенном смысле благодаря паре «следователей» из УСС он познакомился с женщиной, которая вскоре полностью изменила его жизнь. Которой он сначала по-мальчишески восхищался, в которую он потом безумно влюбился, на которой он потом женился, которая должна была родить ему детей и которую четыре года спустя он застрелил на парковке...

* * *

Уволенный в запас, капрал Антоний П. сразу нашел работу в мастерской недалеко от своего дома. Это было первым условием будущей работы – близость от дома, в котором он жил с сестрой. Честный, работающий, пунктуальный, неболтливый и вдобавок ко всему мастер золотые руки: и малолитражку, и представительский «мерседес» починит. А если надо, то и фуру, и совхозный трактор.

Умение держать язык за зубами имело в этом бизнесе фундаментальное значение, потому что хозяином – пусть и неофициальным (официальным владельцем была незрячая инвалидка на каталке, то есть человек, пользующийся всеми налоговыми льготами, девяностолетняя бабушка неофициального владельца) – частнокапиталистического автосервиса был сорокатрехлетний пенсионер (!) из милицейских, известный всем как «товарищ Бартломей», а более тесному кругу лиц – как «Бартек Всемогущий». Все знали, что этот бывший мент, к тому же с сильным «партийным уклоном», прирабатывает на пенсии в воеводском комитете ПОРП. В идеологическом отделе, то есть в самом важном, потому что за неправильную идеологическую позицию тогда наказывали гораздо строже, чем, например, за езду в нетрезвом виде или за взятки, «беспощадную войну» которым объявил (по крайней мере, по телевизору) сам товарищ первый секретарь.

Починка и профилактика всех служебных «полонезов», «фиатов» и братских румынских «дачий», чехословацких «шкод» и гэдээровских «вартбургов» из воеводского комитета партии происходили в небольшом автосервисе, том самом, который принадлежал слепой старушке, потому что якобы только там «предлагали» самые низкие цены, но только там оказывались в наличии запчасти, которые в те времена представляли благо не менее вожаденное, чем апельсины и бананы на Рождество.

Кроме руководящей и направляющей работы в автосервисе своей болезнью бабули, Бартек Всемогущий, никогда не испытывавший ни малейшей нужды в наличности, руководил группой фарцовщиков, скупавших валюту перед входом в «Певексы»[1 - «Певекс» – сеть валютных магазинов в ПНР.] и на приобретенные таким образом средства привозил тремя собственными погрузчиками бэушные тачки из «империалистической» ФРГ. При этом он проделывал очень хитрый, но вполне легальный трюк. За привозимые машины следовало платить высокую пошлину, которая исчислялась в зависимости от веса автомобиля. Тогда это было единственным методом, позволявшим начислить и взять пошлину, потому что если бы пошлину начисляли цивилизованным способом – в зависимости от цены приобретенной машины, указанной в договоре купли-продажи, – то при врожденных чертах польской ментальности, усугубленных приобретенной за годы жизни в Народной Польше изворотливостью, получилось бы так, что все поляки покупают в Западном Берлине или в ФРГ машины, цена которых не превышает тысячи марок. Независимо от того, навороченный это «мерседес»-дизель (дизель тогда был целью и мечтой, потому что бензин продавался на карточки, а дизтопливо свободно) или битый жалкий проржавевший двухдверный «ситроен», работающий на бензине. Бартек Всемогущий

внимательно ознакомился с положениями таможенного права, проконсультировался за рюмкой чая со знакомым таможенником, и оба в ходе дружеской беседы обнаружили, что «автомобиль» определен в таможенных инструкциях как кузов и четыре колеса плюс запасное. Вот он за купленным автомобилем и послал два транспортных средства: один эвакуатор и один минивэн. За рулем последнего чаще всего оказывался Антек-Остро-Стёклышко, который в течение нескольких часов в снятой заранее автомастерской, владельцем которой чаще всего был введенный в курс дела местный – в данном случае немецкого разлива – поляк, снимал с купленной машины двигатель, коробку передач и всё, что слишком много весило и тем самым повышало таможенную пошлину. Введенный в курс дела поляк получал свои пятьдесят марок и именно эту сумму вписывал в договор о «Закупке бывших в употреблении запчастей». В договоре стояла фамилия гражданина Польши, купившего эти запчасти, и, дабы не было никаких осложнений на границе в Сьвецке, покупателем кузова с четырьмя колесами (плюс одно запасное) был совсем другой человек. Изученные под водочку таможенные правила гласили, что таможенные сборы за «бывшие в употреблении запчасти» начисляются (в отличие от «бывшего в употреблении транспортного средства») от суммы, указанной в договоре об их покупке, то есть в нашем случае от пятидесяти дойчмарок.

И так всё это спокойно крутилось, к огромному удовольствию Бартека Всемогущего и еще большему удовольствию его многочисленных товарищей по партии. Их самих, их семьи и друзей он обеспечил недорогими дизель-«мерседесами» прямо из «реваншистской ФРГ – вражеского государства – члена агрессивного блока НАТО». Больше всех радовался товарищ Эдмунд, директор таможенного управления, который в застольных беседах так здорово помог Бартеку своими знаниями и опытом. На свой шестидесятый с помпой отмечаемый день рождения товарищ Эдмунд с нескрываемым душевным волнением принял от официально представлявшего свою щедрую незрячую бабулю Бартека Всемогущего необычный подарок в виде безукоризненно и элегантно отполированного черного «мерседеса» (само собой, дизеля), перетянутого красной ленточкой от багажника до фар. Товарищ директор произнес соответствующую блеску «мерседеса» блестящую благодарственную речь, а товарищ Бартоломей делал вид, что тоже очень взволнован. Вот тогда-то мир и облетела весть, что Бартек на самом деле всемогущий.

Антек-Остро-Стёклышко тоже мог получить в подарок машину за свое молчание, верную службу и за быстрое снижение веса автомобилей до приемлемого уровня. Впрочем, получить он, в соответствии со своим рангом, мог хоть и

дизель, но «всего лишь» «фольксваген». Антек с трудом отвертелся от этого подарка: живет рядом, можно сказать, за углом, никуда не ходит, никуда не ездит, а главное – даже дизтопливо для него было дороговато. Понятное дело, мечтал о «гольф», но не хотел чувствовать всей этой вони польских махинаций каждый раз, когда садится в машину. Ее с избытком хватало на работе, в автосервисе.

Весной 1991 года на прогулке в тюремном дворе Антек совершенно неожиданно встретился с товарищем Бартломеем. Похудевшим, с испуганным взглядом, что называется, с поджатым хвостом. «Как вы здесь, пан директор?» – удивился и инстинктивно, как собака Павлова, поклонился годами заученным кивком. В ответ услышал пенящееся ненавистью шипение: «Этот гад Бальцерович[2 - Бальцерович Лешек (р. 1947 г.) – организатор и идейный вдохновитель польских экономических реформ 1990-х годов, известных под названием «шоковой терапии».] меня прикончил. Но мы с ним еще сочтемся. Пожалеет, сука, что вообще родился. Реформатор гребаный, капиталист». После этой встречи Антек весь вечер и полночи думал о превратностях жизни и пришел к выводу, что всё ж таки какая-то справедливость в этом мире есть. А остальное время до утра он думал о Мартинке.

Воспитал ее, взлелеял, довел до аттестата зрелости и, когда пришло время, собрал все свои сбережения и, как полагается, выдал девочку замуж. Единственной, самой главной для него всегда была его «маленькая Мартуся», хоть эта маленькая переросла его на голову. Антек, честно говоря, недолюбливал ее избранника – пьяницу и дармоеда, – но молчал (не ему же с ним жить, а ей), но когда тот прибил его сестренку, то брат показал высший класс мясницкого искусства. Зэки сочувствовали (надо ж так любить!), сокрушались (эх, чуток надо было постараться на психкомиссии, и верняк желтый билет вытянул бы, перекантовался бы в дурке!). Только вот Антек не захотел косить под психа и получил срок.

Для Винсента Антек-Остро-Стёклышко с первых дней в камере был «паном Антонием». Равно как и для коменданта тюрьмы и для всех без исключения; даже самые тупые надзиратели и те относились к этому заключенному с небывалым уважением. Винсент познакомился с Антонием, когда тот доматывал восьмой год срока. С самого начала, в первые недели, Антек относился к нему с настороженностью, а то и просто подозрительно, но уже месяц спустя – с доверием и даже, можно сказать, сердечно, что у Антека проявлялось, например, в том, что он мог предложить Винсенту газету с интересной статьей

или чаю.

Они никогда не разговаривали об «этом деле», самом главном, переломном в его жизни, но Винсент был уверен, что пан Антоний и так всё «об этом» знает. Потому что на зоне все про всех знают всё. Там ни у кого нет права хранить в тайне или «забыть» о своих прегрешениях и преступлениях. И без разницы, молчишь ты или врёшь напропалую, строя из себя мелкого алиментщика, в то время как на самом деле ты по пьяной лавочке оборвал две жизни, сбив беременную на пешеходном переходе. Там действует другой закон – тайный и строгий закон из неписаного кодекса, у которого много есть общего с кодексом рыцарской чести, но в котором гораздо больше жестоких правил и принципов, известных части вольного мужского населения по дедовщине в армии. Основа этого кодекса – пусть неестественная, но тем не менее строго соблюдаемая иерархия и причудливый набор наказаний и поощрений. Один из законов этого кодекса – первый и основной – право знать о том, «что там было на самом деле». Когда человек проводит с тобой двадцать четыре часа в сутки в течение нескольких лет и делит с тобой эти несколько квадратных метров, один умывальник, один сортир, то стоит узнать, что, как, когда, но прежде всего – за что. Согласитесь, ведь есть разница, чем знаменит этот скромный на вид толстяк с нижних нар или этот сплошь покрытый татуировками и похожий на чахоточника агрессивный заморыш: всего лишь стырил у кого-то шмотки или участвовал в групповом изнасиловании, известный медвежатник или сидит тут потому, что ехал пьяным на велосипеде. Чаще всего это знание распространялось по тайным каналам и приходило к сидельцам еще до того, как клиент попадал в камеру. Утечки неизвестно как попадают в камеры еще до того, как новоприбывший впервые приклонит голову на новом месте, чтобы не смыкая глаз прождать бессонную ночь, до утренней побудки.

Не всегда это было хорошо. Эти утечки информации вовсе не были безобидными. Порой они приводили к трагедиям. Он помнит, как как-то раз ночную тишину прорвали звонки в коридорах. Лестницы затряслись от топота, громкие крики, беготня. На плацу зажглись прожектора. Вой тюремных сирен, в который органично вписалась сирена «Скорой помощи», въезжающей на территорию тюрьмы. Час спустя всё стихло. А утром они узнали, что днем ранее в одну из камер подселили серийного педофила. Ночью сокамерники сделали из него «щелкунчика»: положили его на пол и прыгали у него на груди. А потом спокойно сообщили дежурному, что педофил чуток неудачно упал с нар на пол – как-то так под металлический шкаф, который в свою очередь упал на него, придавил и поломал ему – как потом показала экспертиза – шесть ребер, в четырех местах пробивших ему легкие. Допрошенные по этому случаю самим

комендантом, они тем не менее так и не смогли объяснить, почему «у осужденного, с которым произошел этот несчастный случай», член был обвязан бечевкой, да так сильно, что «врачи рассматривают вариант ампутации пениса». Тщательный обыск не подтвердил (что, впрочем, можно было ожидать) наличия следов веревки в камере. Неделю спустя на прогулке говорили, что сидящий в камере педофил Зютек Марцинкевич, погнало Кондуктор, самый обычный вокзальный воришка, неразговорчивый и, как правило, спокойный, был идейным вдохновителем и организатором «падения шкафа». После всей эпопеи он «сожрал около двух метров веревки и до сих пор не высрал в целях конспирации». Нет объяснения также, почему вопреки законам физики шкаф упал как бы сам по себе. Ну упал и упал, с каким шкафом этого не случается. Может, какое-то внезапное землетрясение или краткосрочный тектонический сдвиг. А что, ведь недалеко от здания тюрьмы находятся шахты, на что обратили внимание так называемые следователи. Вот только почему в «процессе падения» шкаф пролетел аж до нар осужденного, ведь нары находились на расстоянии трех с половиной метров от шкафа? Даже у «следователей» не нашлось ответа на этот сложный вопрос. После трех лет судебных разбирательств и процессов в судах разных – в том числе и самых высоких – уровней дело закрыли «по причине отсутствия признаков преступления». У заключенного тем временем срослись все ребра, затянулись многочисленные дыры в легких, а вот член пришлось ампутировать. Вскоре после этого курьезного судебного решения по всем польским местам заключения – закрытым, открытым, полуоткрытым – лишь только ей известными путями молниеносно долетела «хорошая» новость: педофил уже отгрел по полной и его можно больше не обрабатывать.

Пан Антоний, похоже, много знал о деле Винсента. Но и Винсент, в свою очередь, не меньше знал о происхождении кликухи «Антек-Остро-Стёклышко». В ту ночь, когда он слушал долгий монолог Антония, он понял, что сказанное не просто похоже на правду, а что именно так оно и было на самом деле. Сначала он возмутился и даже разозлился (какая падла его слила), но минуту спустя почувствовал странное облегчение. Он не был настолько наивным, чтобы поверить, что сокамерники видят в нем карманника, в то же время тот факт, что так точно знают подробности, которые никоим образом не должны были выйти за стены прокуратуры, суда и кабинета начальника тюрьмы, вызывал в нем ощущение творящейся в отношении него несправедливости. С другой стороны, понимание того, что про него практически всё известно, снимало необходимость объяснять, как он тут оказался. Как говорится, нет худа без добра, а добро было в том, что камень с души свалился.

– Нашего француза какие-то кошмары изводят, – сказал в ту ночь Антек. – Да так, что того и гляди в больничку сыграет. Воспоминания терзают. И не только днем, но и ночами. И я так понимаю, еще какое-то время промучается парень. Так что пока оставим его в покое. А не так, как Максик: чуть что – сразу по морде. А ты, Бандитик, не садовник, чтобы водой поливать как грядку. Смотри, а то простудится и тогда вообще ночью спать не даст своим кашлем. А ты, Линза, нехрен на него орать как на глухого. Соображать должен – иностранец и польского крика не понимает. Подумает еще, что в польских тюрьмах одни бандюганы сидят. И бросай ты эту привычку, как шарманщик, «бонжур, бонжур, мля, бонжур»; не действует это у нас в стране, здесь человеку нужны слова покрепче. Ни к кому он не пристаёт, шуму от него мало, под себя не ходит, так что вони тоже нет, на пол не плюет, ничего не ломает. Короче, пусть тихо на нарах мотает свое, пусть головой трясет сколько влезет, пусть вытрясет из нее сколько надо, а потом отсидит спокойно за свой труп, тоже сколько надо. Тихо сидит, нам не мешает. Ну, что скажешь, народ? Он ведь всё равно тогда в отключке, как в другом мире. И пусть себе сидит там, потому что, видать, должен он туда, в этот свой другой мир, лазить, чтобы в этом, нашем, окончательно не свихнуться. По себе знаю. Потому от себя и говорю.

Вспыхнул огонек зажженной спички. Антек стих на мгновение, глубоко затянулся сигаретой, зашелся ненадолго хриплым кашлем, а когда пришел в себя, продолжил:

– Он ведь что, он у себя в мозгу мелет и мелет какое-то большое зерно, и я так думаю, что в его снах мельница слишком быстро у него в башке вертится и бьет его крыльями по черепушке изнутри, от уха до уха. И так ему эта мельница мозги на все стороны разбрасывает, что он в конце концов просыпается. А мельницу не остановишь, как машину тормозом. Мельница, она как карусель, сама должна остановиться. Вот сидит он тут как живой труп, а это значит, что у него мельница в это время останавливается – так я своим здравым умом понимаю. Но француз наш в конце концов зерно свое перемелет. С каждой его шизой оно будет всё меньше и меньше. Отвечаю. Увидите. В муку всё перемелет. А мука та у него из головы не испарится. По мозгам разойдется и будет временами доставать его, но от того зерна, что у него сейчас полчерепа занимает, он избавится. А покамест у него есть что молоть. Еще как есть. Хахаля своей бабы, да и ее – по случайности – расстрелял. На ее глазах. Ее-то он случайно задел, но всё равно смертельно вышло. Потому что она вроде как хахаля этого заслонить собою хотела и сама попала под одну пулю. Очень ему женщина эта важна была, только для себя хотел ее, и ревность ему весь ум отключила. А хуже ревности бывает только месть или фанатизм религиозный. Я

во время уборки на кухне случайно подслушал, как надзиратели говорили, что он в мужика того – а тот то ли певцом, то ли композитором был – всадил два полных магазина. И что тому не только из башки, а даже из яиц сито сделал. В центре города, на парковке. Не знаю, правда – не правда с этими яйцами, руку на отсечение не дам, только всё очень с фактами сходится, и я француза в этом деле в полной мере понимаю. Моя баба – значит, моя, и здесь за свою да и за ее честь постоять приходится. А даже и с оружием в руках. Тем более что она была его венчанной. То, что венчанная и что на парковке их порешил, это я в газетах прочитал. Я тогда еще не знал, что его к нам в камеру впакуют. Вот и сообразите, что у такого сейчас в голове может делаться. Хочешь – не хочешь, а зерно это придется перемолоть. В муку. Хуже всего для него, что он такой умный и потому у него другая совесть, чем у обычного глупого бандита. Слишком большая совесть, потому что совесть у человека тем больше, чем больше он знает. Вот почему я настаиваю на том, что, как скрутят его судороги, нам надо без нервов переждать и оставить человека в покое. И ни в столовке, ни на прогулке, вообще нигде я бы про это не трепался, не то пойдет потом молва, что мы с психом водимся и что это может нам на мозги перекинуться. Может такое быть? Как думаете, народ? – спросил он шепотом.

Молчал, ждал ответа. Но ни Максик, ни Бандитик, ни Линза, ни даже не упомянутый Антеком Эвакуатор ничего по этому вопросу, да и ни по какому другому, не думали. Утомленные долгими полуночными душевными излияниями Антония, они заснули.

Антоний с этим своим «перемалыванием зерна» во многом был прав. Со временем и сны, и наступающее после них «пробуждение в состоянии трупа» случались всё реже. Иногда возвращались, но всё же бывали периоды, когда они месяцами не давали о себе знать. В тюрьме никто никогда никому, в том числе и строящему из себя Фрейда пафосному клоуну – официальному психологу, не рассказал об этих ночных видениях. Винсент относился к ним как к дополнительному, хоть не предусмотренному Уложением о наказаниях, но вполне справедливому и безусловно полагающемуся ему элементу кары, которому он отдавался с полным пониманием и покорностью. Он причинил людям огромное страдание, поэтому и сам он тоже должен пострадать. Если надо, то до конца жизни. В это он свято верил. Думы о том, что он натворил, не прекращались с погружением в сон. У него не было ни минуты отдохновения. Даже когда он засыпал.

Не было какого-то конкретного события или переживания, которые могли бы именно в эту, а не в какую-то другую ночь снова вызвать кошмарный сон и парализовать его на какое-то время после пробуждения. В местах заключения нет того, что на воле называют «событиями». Настоящее страдание от лишения свободы, по крайней мере для него, состояло как раз в том, что никаких событий не было. Их – по возможности все – целенаправленно предотвращали. А когда нет событий, то нет и переживаний. Кроме разве что тех сонных видений, которые были вызваны воспоминаниями. Если кто-то на воле думает, что его жизнь пуста, бессмысленна и безнадежна, потому что каждый день приходится делать одно и то же, начиная с чистки зубов в ванной каждое утро и кончая их же чисткой в той же самой ванной перед отходом ко сну, заполняя время «между» той же самой работой, повторением тех же самых манипуляций, хождением по той же самой дороге и встречей с теми же самыми людьми, так вот – если кто-то на самом деле думает так, то он сам себя обманывает, сам себя наказывает. По собственному желанию или по недоразумению, он не видит, что каждый новый день это новые картины, не слышит, что каждый новый день это новые звуки, не чувствует, что вдыхает новые запахи, он не обращает внимания на тот опыт, который испытывает, прикасаясь к стольким невиданным доселе предметам, и этой своей бесчувственностью наказывает себя самого, как если бы по собственному желанию взял и закрыл себя в воображаемой тюрьме без стен, решеток и охранников.

Иногда, как правило перед самым рассветом, сразу после пробуждения, чаще всего весной или летом, он вслушивался в птичий щебет, долетающий в камеру через приоткрытую форточку. Тогда он обещал себе, что когда он исполнит часть покаяния и выйдет отсюда – то ли по первой увольнительной на краткосрочное свидание[3 - Увольнительная для краткосрочного свидания вне стен тюрьмы – одна из существующих в Польше форм поощрения и ресоциализации заключенных, вставших на путь исправления и отбывших определенную часть срока.], а то и навсегда, – он первым делом пойдет в лес и будет внимательно ко всему присматриваться по дороге, а уж потом, в лесу, перетрогает всё-всё. И деревья, и мох, и траву, песок, листья, дорожные указатели. И останется там до самого вечера, чтобы слушать, вдыхать и ощущать. И обязательно будет там один, чтобы сначала пережить всё то, о чем так тосковалось. Когда после нескольких лет отсидки ему выдали первую увольнительную, то он всё именно так и сделал.

День тогда выдался жаркий, безветренный. Тихий летний день. От ворот тюрьмы он специально шел медленно, радуясь каждому своему шагу, ошеломленный гомоном улиц пульсирующего повседневностью города,

впитывая в себя все его голоса. Визг шин, плач ребенка, звуки колокола на звоннице костела, девичий смех, перестук каблучков по мостовой, хлопанье рекламных баннеров на ветру, мурлыканье кошки, музыка уличного оркестрика, цокот копыт по булыжнику от проезжающей мимо пролетки с туристами. Для вольных жителей вольного города всё это было настолько обычным, нормальным, повседневным, что ускользало от их взора и слуха. Но не от него. Временами он останавливался и внимательно вслушивался в звуки, чтобы ничто из этой полифонии не пролетело мимо его ушей, мимо его души. Он вдыхал в себя все эти обычные запахи, по которым так сильно тосковал в камере. Выхлопные газы проезжавших автомобилей, доносящийся из пекарни аромат свежей выпечки, щекочущий ноздри запах солений из рыночных рядов, жареная кукуруза, которой с лотка торговала женщина в пестром платье.

Трехчасовой поход завершился на участке семейных домиков, сразу за которыми начинался сосновый лес. Пройдя через поросший высокой травой луг, он добрался до песчаной тропки, по которой прошел метров двадцать и оказался под сенью деревьев. Он перетрогал стволы, траву, кусты. Всё как и намечал. В город вернулся уже поздним вечером, когда сгустились сумерки. Со стертymi в кровь пятками, уставший и странно одурманенный, чуть ли не замороженный всем виденным, хоть и было оно самым обыкновенным. В течение тех немногих часов на воле он пережил гораздо больше, чем в течение многих лет за решеткой.

Вот почему он никогда не связывал преследовавшие его ночные кошмары с пустотой переживаний в тюрьме. Единственная закономерность в появлении его ужасных сновидений – их четкий календарь: на протяжении всех этих лет сон возвращался как по заказу в определенные дни. Он всегда ему снился либо накануне, либо сразу после того октябрьского дня, когда он убил ее. Но не только тогда. То же самое происходило и в день ее рождения, в день очередной годовщины их свадьбы, в день их первой встречи, их первой совместной ночи или их первого и каждого последующего Рождества...

Несколько лет спустя. Рождество

Вот и сегодня, под Рождество, его разбудил тот же самый сон. С искусанным и мокрым от слюны уголком подушки во рту, он тихо сидел на краю постели и, не моргая, смотрел на ночную лампу. Несколько минут спустя конвульсии прекратились. Вскоре он задышал – медленно, ритмично и неглубоко. Важно

было не наглотаться воздуха и не спровоцировать гипервентиляцию. Когда в легочных пузырьках слишком много кислорода, то в мозгу человека происходят удивительные вещи. Его «состояния отсутствия» после пробуждения в тюрьме были, скорее всего, результатом интенсивного поступления кислорода в кровь. Один раз он сразу после пробуждения потерял сознание и упал на пол, его прямо из камеры вынесли на носилках, и «Скорая помощь» отвезла его в больницу. Врач, который осмотрел его там, сразу сообразил, что его странные состояния вызваны избытком кислорода. Он ему тогда порекомендовал простой способ: приложить ко рту бумажный пакет и дышать через него. Выдыхаемый углекислый газ возвращался обратно в его легкие. Вот такой простой замкнутый цикл. С той поры он спал с бумажными пакетами, которые держал под матрасом на нарах. А Линза, этот «бонжур», приставлял к нему пакет каждый раз, как только он застывал в сидячей позе на нарах после пробуждения. Но вот уже несколько лет он научился обходиться без пакета: сам хранит свой СО

в легких и не слишком глубоко дышит. Впрочем, несколько пакетиков он взял на память из тюрьмы и держит их с другими артефактами того времени в запираемом на ключ ящике письменного стола.

Когда отпустили судороги в руках, он уже знал, что всё прошло. В комнате было тихо. Он никого не разбудил. Встал и на цыпочках подошел к кровати Джуниора. Малыш сосал большой палец и спал, мерно посапывая. Винсент склонился над кроватью и умиленно посмотрел на сына, прикрыл Джуниора одеялом, которое сползло на край кровати, и подошел к стулу, на котором оставил свою одежду. Мимоходом взглянул на будильник на ночном столике Агнешки. Было начало седьмого. Агнес лежала ничком. На ногах у нее были доходящие до икр толстые шерстяные носки. Ее коротенькая ночнушка из черного муслина задралась вверх, оголив ягодицы и половину спины. Эти толстые лыжные носки показались ему забавным диссонансом с чуть ли не обнаженным телом и вызвали улыбку. Как только наступала зима, даже если в спальне было более чем тепло, Агнешка открывала свой «сезон ледяных ног», которые она, если они оказывались вместе в постели, с удовольствием и без предупреждения лезла к нему погреть. Он тогда вскрикивал с наигранным возмущением, а вскоре уже массировал ее маленькие ступни, разогревая их в своих руках, а бывало, что начинал согревать их своим дыханием и поцелуями. Потом они прижимались друг к другу. Иногда этим прижиманием всё и заканчивалось, иногда – нет. Потом долго разговаривали. Порой до самого утра.

Уже одетый и готовый к выходу, он тихо прошел через всю комнату и сел на краю постели Агнешки, вслушиваясь в ее равномерное дыхание. Она изменила его жизнь. Сначала внесла в нее смысл, потом придала ей новое значение, а потом родила ему Джуниора. Эта его Агнес...

* * *

Когда он получал короткие – обычно на два дня – увольнительные, им было жалко времени на сон. Агнешка приезжала на поезде в город, где находилась его тюрьма. За неделю резервировала для них место в каком-нибудь пансионате или доме туриста, но только там, где можно было снять комнату с кухней. Регистрировалась там днем или вечером за день до начала его увольнительной. Остаток дня она посвящала закупке продуктов, которыми так заполняла холодильник, что не оставалось свободного места ни на полках, ни в морозилке, меняла постель на свою, привезенную из дому, полотенца – на свои, ставила его зубную щетку в стакане на полочке под зеркалом в ванной, в шкафу развешивала его рубашки и раскладывала по полкам его свитера, брюки, нижнее белье. На кухонных полках ставила их тарелки, их кружки, их рюмки, их стаканы, их салатницы, их столовые приборы. На стол стелила их скатерть, которую гладила, если в этом месте был утюг. И все это она тащила сюда в чемодане. В том числе и вазу. Она покупала цветы, и если только это было возможным, то брала его любимые белые хризантемы. Привезенные из дома и выстеленные цветными льняными салфетками плетеные корзиночки она наполняла фруктами. Все должно было хотя бы отчасти напоминать дом. Пусть только одну ночь и два дня. Даже если этот их «дом» находился в каком-то совсем чужом доме – гостинице, съемной квартире или даже доме туриста. Утром, задолго до его выхода, она вставала у ворот тюрьмы, задирая голову, и всматриваясь в густые, как сито, проволочные сетки, приделанные к окнам камер. Если окно его камеры было видно с улицы, она, как правило, всегда видела развевающуюся на ветру тонкую ленточку. На таком расстоянии она не могла различить ее цвета, но знала, что это зеленая ленточка. Она просто не могла быть другой...

В сущности, их история и началась с обычной зеленой ленточки. Это сегодня она не просто ленточка, а символ. Завернутую в шелковый платочек, она давно носит ее – в смысле ее половину – в своей сумочке. Вторая половина – в его портмоне под фотографией ее и Джуниора. Долгое время – почти два года – этот обрывок зеленой ленточки, спрятанный в картонной коробке с его личными вещами, пролежал в затхлом подвале тюремного склада. Подвале той самой

тюрьмы, в которой он сидел три последних года. В одно из очередных возвращений из увольнения для краткосрочного свидания он лишился ее: нашедший ленточку во время обыска (обычная процедура) излишне бдительный охранник решил, что она слишком длинная и что он мог воспользоваться ею «в целях нанесения такого ущерба своему здоровью, которое было бы несовместимо с жизнью». Действительно, тесемка была на девять с половиной сантиметров длиннее допущенного предписаниями какой-то там статьи тюремного кодекса. Кратко и дословно интерпретируя положения, охранник оценил и записал в «протокол обыска заключенного», что тот мог бы воспользоваться ленточкой для удушения кого-то путем затягивания ленточки на шее или для повешения себя на тюремной решетке. Правда, в протоколе он не описал это так красочно, но именно это он имел в виду. Вот почему его половина их зеленой ленточки почти два года пролежала в картонной коробке, под замком в тюремном подвале. В сущности, это была ее ленточка, но настал такой день, когда, прощаясь перед воротами тюрьмы после одной из очередных его увольнительных, она поделила ее на две части: свою стала носить в сумочке, а он свою попытался пронести в портмоне в камеру. Простая зеленая ленточка, какими обычно в магазине перевязывают подарки, дала начало их общей истории, в которой больше мелодраматического кича, чем серьезного романтического порыва, но когда они ее вспоминают, каждый раз испытывают необыкновенный душевный подъем...

Дело было в Кракове. Она ехала в битком набитом трамвае. В том же самом трамвае оказался он (во время своей третьей увольнительной): ехал на вокзал, а дальше собирался поездом добраться до Варшавы. На повороте вагон дернуло, и у нее из рук на грязный пол трамвая упали бумаги. Она кинулась собирать, он стал ей помогать. Так, присевшие на корточки и то и дело толкающие друг друга при каждом рывке трамвая, они собирали листочки. Она подняла голову, их глаза встретились, она улыбнулась ему, что-то сказала, не переставая глядеть ему в глаза, и коснулась его запястья. Потом она поспешно вытерла слезы со щек и что-то сказала ему. Из-за грохота колес и скрежета тормозов на повороте он не расслышал ее слов. Она вышла не обернувшись. Он проводил ее взглядом. Видел, как она села на скамейке под навесом остановки и закурила. Он и сегодня не знает, почему он тогда почувствовал укол хорошо ему знакомой, но уже давно, как ему казалось, покинувшей его ностальгии. Эта абсолютно чужая, только что случайно встреченная им женщина вмиг пробудила в нем что-то такое, что он с таким трудом и навсегда умертвил в себе. Может, всё из-за ее грусти? А может, из-за неожиданного прикосновения их рук? А может, потому, что ее руки напомнили ему руки его матери? Да, что-то такое было, потому что, когда он в уезжающем трамвае потерял ее из виду, его глаза стали искать ее

фантом и, представляете, нашли. Он взглянул на то место, куда упали ее листки: в ложбинке ребристого настила лежала длинная зеленая ленточка, та самая, которой была перевязана стопка рассыпавшихся листков! Он наклонился, резким движением схватил за ногу стоявшего на ленточке мужчину, отпихнул его и поднял ленточку.

– Вы в своем уме?! – услышал он раздраженный возглас. – Что вы себе позволяете! Дожили, в транспорте уже нельзя без извращенцев проехать!

Отвечать на подобные замечания не было времени: он стал энергично протискиваться к выходу, на ближайшей остановке сошел и что было сил помчался по трамвайным путям назад... На лавке никого не было. Узкая мощеная улица вилась вдоль обклеенного плакатами высокого деревянного забора, начинавшегося в нескольких метрах от трамвайной остановки, и заканчивалась площадью с серым зданием. Широкая каменная лестница вела к вертушке стеклянных дверей, рядом с которыми на стене висела выпуклая красная табличка. Выхватил взглядом ключевое слово: «Университет». Вошел в просторный шумный холл, заполненный молодежью. Обошел его вдоль и поперек, внимательно всматриваясь в лица. И наконец увидел ее. Она сидела на одном из низких кресел, стоявших вдоль бетонной стены, увешанной портретами мужчин в черных тогах с горностаевыми воротниками и в чудных головных уборах. Подошел к ней, протянул зеленую ленточку и тихо сказал:

– Мы забыли поднять ее...

Она оторвала взгляд от своих бумаг, удивленно посмотрела на него и застыла на мгновение. Потом протянула руку и взяла ленточку. Молча стала разглядывать ее так, будто видела впервые, потом аккуратно счистила с нее засохшую грязь и перевязала стопку лежавших на ее коленях листков.

– Действительно, забыли, – ответила она, смотря ему прямо в глаза. – А вы, конечно, разглядели ее, подняли, свернули с намеченного пути и каким-то чудесным образом нашли меня здесь, в этой толпе, хотя я, в принципе, могла быть где-угодно, и принесли мне ее. Какую-то ленточку... Ну и зачем вы это сделали?

Действительно, зачем? Он и сам задавал себе этот вопрос, когда мчался вдоль трамвайной линии. Зачем он делает это? Что заставило? Может, он захотел еще

раз увидеть ее грустную улыбку? Он не мог дать четкого ответа на этот вопрос, но – несмотря на иррациональность, а может, даже и комичность того, что он проделал, – ощутил сильное желание узнать это.

– Сам не знаю. Наверное, не хотел, чтобы всё просто так кончилось, – смутился он.

– А что, собственно, началось? – тихо спросила она и поднялась с кресла.

Не стала ждать его ответа, улыбнулась и, вручая ему свою объемистую сумку, сказала:

– Подождете меня здесь? Всего полчаса. Может, чуть больше. У меня консультация у научного руководителя. Оставляю свою сумку под вашу ответственность. Это вам как залог того, что вернусь и что вам больше не придется искать меня.

Она застегнула жакет своего пепельного костюма на все пуговицы, поправила юбку, откинула рукой прядь волос со лба и направилась к лифту. Сделав несколько шагов, она остановилась, вернулась, протянула руку и сказала:

– Меня зовут Агнешка...

Сначала он полчаса сидел с ее сумкой как с каким-то сокровищем, к которому его приставили сторожем, потом, когда давно уже прошли обещанные полчаса, с этой сумкой, но теперь уже висевшей через плечо, он прохаживался по холлу, внимательно рассматривая висевшие на стене портреты. В конце концов, ощутив растущую нервозность, которая – несмотря на столько лет, проведенных в камере, – всегда появлялась, когда ему приходилось тупо ждать и ничего не делать, зашел в туалет в самом конце одного из коридоров, лучами отходящих от холла. На подоконнике серого от табачного дыма и едко смердящего мочой помещения он заметил наверняка забытую кем-то здесь помятую и зачитанную книгу. На замусоленной обложке он прочел: «Человек и мир в поэзии древних греков и римлян». «Бывают же в жизни совпадения!» – подумал он и вспомнил, как во время его первого года обучения в Нанте один классический филолог из Парижа мучил их поэзией греков и римлян. Он постоял в туалете, подождал, не придет ли кто за книгой, а когда убедился, что греки и римляне здесь никого не интересуют, взял книгу и вернулся на кресло в холле.

– Вы совершенно мною не интересуетесь! Ну нисколечко... – вдруг услышал он. Она присела перед его креслом и улыбнулась. – Вы только подумайте! Я должна была вернуться через полчаса, вернулась через два, а он даже не пошевелился! Сидит на том же месте и читает как ни в чем не бывало. А вдруг со мною что случилось? А вдруг меня разбил паралич, инсульт или инфаркт? Или еще что похуже, например, снова потеряла ленточку, что тогда? Что бы вы тогда сделали? Ну ладно, а теперь серьезно. Этот мой научный руководитель такой говорун. Никак не могла удрать из его кабинета, а ведь очень – верьте мне – хотела. Даже соскучилась по вас. Пусть немножко, но соскучилась. Понимаете, этот мой профессор – человек старой закалки, наверное еще довоенной. Никогда бы мне не простил, если бы я намекнула ему на время... А вы мне простите, а? Простите? Очень, очень извиняюсь. Хочу загладить свою вину – приглашаю вас на кофе. Здесь за углом есть маленькая кафешка, может, не самая видная, но кофе там отличный. Проверено. Ну что, уговорила? Согласны? А так, вообще, чем вы занимались всё это время, кроме охраны моей сумки? Ах, да я вижу, что вы время даром не теряли, записались на учебу, уже готовитесь к первому экзамену! – взяла книгу с его колен. – Интересно, а на какой факультет? Ах, вот что у вас! Ну тогда понятно. Классическая филология, греческий, латынь. К тому же поэзия! Как же я сразу не поняла! Ведь ни на физика, ни на химика и даже на юриста вы не похожи. У вас взгляд гуманитария. Точно! – вынесла она вердикт, не дав ему открыть рот...

А ему и не надо было... Он вслушивался в журчание потока ее слов, и на душе становилось легче. Ему казалось, что ее глаза стали больше и ярче, прядки волос упали на лоб, щеки зарделись. Из-под расстегнутого жакета виднелась белая шелковая блузка. Она так близко присела к нему, что во время ее жестикуляции их колени соприкоснулись. Он ощутил запах ее парфюма, заметил блеск ее губ.

– И к тому же у вас красивые глаза. Честно...

Он ощутил внезапно накатившую волну нежности. Редко и только когда к нему в тюрьму приезжала мама и сестры, с ним происходило нечто похожее. Он наклонился пониже и сделал вид, что рассматривает текст. А глаза прикрыл. Когда волна схлынула, он, стараясь сохранить обычный тон и остаться в рамках легкого флирта, произнес наигранно веселым голосом:

– Основное время ушло, естественно, на охрану вашей сумочки. Но когда вы всё не возвращались и не возвращались, то я от нечего делать стал рассматривать портреты на стене. Вон те, за спиной. Я даже запомнил, как звали вашего ректора в восьмидесятом году, когда я впервые приехал в Польшу, – улыбнулся и встал с кресла.

– Я тоже знаю, потому что у меня та же фамилия. Точно та же. Буква в букву. Потому что этот ректор – дедушка моего бывшего мужа. Хорошим был ректором и хорошим человеком. Хоть и коммунист. Полная противоположность его внука, который, к сожалению, лишь для вида был образцовым либералом, а сам в глубине души держиморда почище Сталина...

Кафе действительно выглядело мрачновато. Но для него это сейчас не имело ни малейшего значения. Если бы она привела его в парк на скамейку и они пили бы из одного пластикового стакана кофеобразную бурду, что принесли с собой в термосе, ему всё равно было бы хорошо. Ему хотелось быть с ней рядом и слышать ее голос. Только это было важным. Что же касается мрачности – ему нравились такие «мрачные» места. Колченогие квадратные столики на металлических ножках из проржавевших трубок, обтянутые дерматином стулья. Свисающие с потолка остатки новогоднего серпантина, хотя была уже середина мая, пирамида подносов с грязной посудой у окна, голоса из мойки. Только запах был совсем другим: пахло не солянкой, а настоящим кофе...

Когда в начале восьмидесятых, подгоняемый своим «солидарностным воодушевлением», он приезжал в Польшу, а потом – в связи с учебой – надолго перебрался в Краков, он очень любил бывать в польских столовых, именно столовых. У него хватило бы средств и на хороший ресторан. Даже у него, бедного студента из французской провинции. Достаточно было продать с рук несколько франков перед валютным магазином, чтобы наесться и напиться в престижном ресторане «У Вежинка» за дубовым столом, покрытым белоснежной накрахмаленной скатертью. Но знакомиться с Польшей с перспективы ресторанного столика казалось ему абсурдным. Наверняка это была бы не настоящая Польша. Впрочем, пару раз он там был, но и одного раза ему хватило, чтобы заметить: большинство посетителей – это иностранцы, проститутки и госбезопасность. Второе посещение только подтвердило правильность первого впечатления. А вот в столовую он впервые попал в Гданьске, во время августовских забастовок. Под бигос и его любимые «ленивые» с корицей и сахаром или под фасоль по-бретонски он узнавал от польских студентов, что творится за воротами судоверфи, что сделает или чего не сделает Валенса,

приедут ли русские танки наводить порядок, а если приедут, то когда. Он попал именно в эту, а не в другую столовую, потому что ему сказали, что именно сюда приходят рабочие с судоверфи. Прямо с забастовки. В рабочих робах, с касками на голове и с самой последней информацией на устах. Несмотря, казалось бы, на плотные кордоны милиции вокруг судоверфи, они какими-то только им ведомыми путями выходили с территории верфи и так же незаметно возвращались. И в том, что они говорили, была вся правда. Поэтому он бывал именно в этой, а не в какой-то другой столовой так часто, как только можно.

Оказался он там и в воскресенье около полудня, 13 декабря 1981 года. В начале декабря он прилетел в Варшаву. объездил на поезде всю Польшу – Катовице, Краков, Познань, Торунь, Ольштын, Гданьск. И каждый вечер, если только удавалось купить билет, шел в театр. В воскресенье, 13 декабря, собирался на премьеру в Музыкальный театр в Гдыне. В субботу поздним вечером добрался до вокзала в Гданьске и оттуда – поездом до Гдыни. Свободных мест в гостиницах не оказалось, и тогда добрые люди послали его – наверняка с мешком денег богатенького иностранца с Запада – в дорогущий интуристовский «Гранд-отель» в Сопоте. Потому что, как они говорили, если есть места, то только там. До Сопота он добрался на такси за час до полуночи. Официально в отеле «все места были заняты, но, может быть, постараемся что-нибудь для вас сделать» – услышал он от молодого сотрудника ресепшен. Подал паспорт с торчащей из него банкнотой. Сотрудник взял паспорт, удалился на мгновение в боковой коридорчик и тут же появился с ключом от номера на пятом этаже. Он бросил рюкзак на кровать и быстро спустился в ресторан. В заполненном густым табачным туманом барном зале перед входом в ресторан царило оживление, чтобы не сказать сутолока. Стоящие группками или сидящие мужчины в расстегнутых пиджаках или в белых сорочках с засученными рукавами громко переговаривались, бурно жестикулировали. Он протиснулся к барной стойке и онемел. Он увидел Мазовецкого[4 - Мазовецкий Тадеуш (1927–2013) – один из лидеров движения «Солидарность» и первый послекоммунистический премьер-министр Польши.], который курил и разговаривал с каким-то усатым высоким плечистым мужчиной. Точно Мазовецкий, никаких сомнений! Только он в Польше выглядел так, будто носил в себе все страдания и боль всех поляков. В глубине бара, у входа в ресторан, в окружении группы мужчин с рюмками водки стоял улыбающийся Куронь[5 - Куронь Яцек (1934–2004) – диссидент и государственный деятель (министр труда и социальной политики в 1989–1990 гг.), яркий представитель польской оппозиции.]. Он узнал Куроня и Мазовецкого, их лица и голоса были известны ему по телепередачам. Они были для него героями той самой легенды, которая позвала его в Польшу. Представляете: спускается в бар, чтобы выпить чаю, и встречает их обоих! Он

встал поближе к Куроню, изо всех сил стараясь понять, что тот говорит. Он помнит, что официант принес на пластмассовом подносе водку в больших хрустальных рюмках, что и ему тоже подал и что в этот самый момент в баре зажегся большой свет, послышался топот толпы и крик мужчины. Из крика можно было вычленить лишь: «военное положение», «генерал Ярузельский[6 - Ярузельский Войцех (1923–2014) – военный и государственный деятель. Министр обороны Польши (1969–1983), первый секретарь ПОРП (1981–1989), премьер-министр ПНР (1981–1985), председатель Госсовета ПНР (1985–1989) и первый президент посткоммунистической Республики Польша (1989–1990).]», «интернирование», «просим не оказывать сопротивления». Всё произошло так неожиданно, что он ничего не понял. Воцарилась гробовая тишина, и сразу же рядом с Куронем появились четыре милиционера. Один из них стал махать ему перед носом каким-то белым листком и что-то нервно кричать. Куронь спокойно взял листок, прочел его, потом подошел к Мазовецкому и что-то шепнул на ухо. Мазовецкий тут же взял лежавший на высоком барном табурете пиджак, и они с Куронем, сопровождаемые эскортом милиционеров с дубинками, проследовали к выходу, ведущему к гостиничному холлу. Он никогда не забудет этой картины. Мазовецкий с высоко поднятой головой и этим своим взглядом, полным боли и сострадания, а рядом, плечом к плечу – Куронь, хоть и молчаливый, но с таким блеском в глазах, будто хотел сказать: «Врешь, не возьмешь!»

Так же близко, на расстоянии вытянутой руки, он окажется с Куронем еще только раз в жизни, в мае восемьдесят девятого. Кафе называлось «Сюрприз» и находилось на площади Конституции в Варшаве, в доме номер шесть, на углу улицы Пенькной, в аркадах. Именно там, в центре города, расположился избирательный штаб варшавского комитета «Солидарности» перед первыми, частично свободными выборами в так называемый контрактный сейм пока еще Польской Народной Республики. До того как коммунисты отдали «Солидарности» это заведение, сюда приходили фарцовщики, билетные спекулянты, таксисты и проститутки из столичного района Центр. Часто туда наведывалась милиция, когда надо было вмешаться в кулачную разборку посетителей. Может, власти Варшавы специально выбрали заведение с такой пьянчужно-проститутско-бандитской славой, чтобы выделить его «Солидарности»?

Он чувствовал, что в жизни ПНР грядет что-то необычное, какой-то великий момент. Те выборы, о которых договорились за круглым столом и которые были свободными лишь на тридцать пять процентов, сулили большие изменения. Даже то, что ПОРП и ее приспешники получили гарантированных «всего лишь» шестьдесят пять процентов мест в сейме, уже было своеобразной победой

оппозиции, сломавшей старый шаблон, согласно которому коммунисты имели всё, все сто процентов. Но самое интересное состояло в том, что борьба за оставшуюся часть мест в сейме и сто мест в сенате была открытой и демократичной. Если не считать телевидение, радио и те газеты, которые оставались в руках «красных», то можно было свободно говорить и писать – да хоть бы в листовках – всё что хочется. Он тогда испытал душевный подъем, а Пати даже еще больший. В этой битве за свободные места в парламенте Краков представлялся им слишком флегматичным, слишком каким-то правильным, слишком консервативным, без полета мысли. Так что в свободные от работы субботы и воскресенья они ездили в Варшаву, где с друзьями и знакомыми раздавали листовки перед костелами, участвовали в собраниях, организованных гражданскими комитетами, или просто слонялись по студенческим клубам, слушали, что народ говорит, и дышали пьянящим воздухом свободы.

Были они в Варшаве и в субботу, 27 мая. Кто-то сказал им, что в «Сюрпризе» на углу улицы Пенькной и площади Конституции будут сплошные сюрпризы, потому что туда приходит не только вся Варшава, но и весь мир. Однажды туда пришел Збигнев Бжезинский, был там и его любимый Ив Монтан. Да и вообще «Сюрприз» задавал избирательной кампании «правильный тон».

Когда они пришли в кафе, внутри уже всё кипело. На фоне избирательных плакатов перед микрофонами сидел... Стиви Уандер! Вот уж сюрприз так сюрприз. Они знали, что певец в Варшаве и что будет его концерт на Стадионе Десятилетия, но о встрече с ним здесь они даже мечтать не могли. Пати схватила его за руку и стала судорожно пожимать. В черных солнцезащитных очках, со значком «Солидарности» на лацкане пиджака, он сначала заявил о своей поддержке свободы, Валенсы[7 - Валенса Лех (род. 1943 г.) – электрик по профессии, работавший на Гданьской судовой верфи, стал политическим деятелем, первым руководителем профсоюза «Солидарность», президент Польши (1990–1995), лауреат Нобелевской премии мира (1983).] и «Солидарности», а потом запел. Рядом с ним в белой рубашке с коротким рукавом сидел улыбающийся Яцек Куронь и пел вместе со всем залом. И это был второй раз, когда он оказался близко с Куронем. Тут же вернулись воспоминания о морозной декабрьской ночи в сопотском «Гранд-отеле»...

После того как увели Куроня и Мазовецкого, в зал вбежали милиционеры. Тех, кто сопротивлялся, били дубинками, заламывали им руки, надевали наручники и выводили из зала. К нему подошел рослый мужчина (глубокий шрам на щеке, запах водочного перегара и чеснока) в коричневой куртке с меховым воротником

и потребовал предъявить документы. Вел себя агрессивно: кричал, грозил арестом за отсутствие документов. Ни один из гостиничных лифтов не работал, пришлось по лестнице идти наверх, в номер. На каждом этаже при входе в коридор стояли милиционеры в касках и с дубинками. В номере незваный гость сначала долго изучал его французский паспорт, а потом еще дольше писал в своем черном блокноте. Вышел, можно сказать, тихо (если не считать грохота закрытой за собой двери), не проронив ни слова.

После получаса сидения в номере и безрезультатных попыток дозвониться до ресепшен пришлось спуститься вниз, по лестнице, лифты всё еще не работали. Барный зал был пуст. В холле около ресепшен крутилось несколько милиционеров. Взволнованный администратор объяснил ему, что в Польше в полночь было введено «военное положение» и что телефоны в гостинице, как и во всей Польше, не работают. Сказал ему также, что «красные собаки только что забрали в их гостинице всех самых главных из «Солидарности», вместе с Куронем, Мазовецким и Рулевским[8 - Рулевский Ян (род. 1944 г.) – профсоюзный деятель, один из лидеров движения «Солидарность».]». Кроме того, оказалось, что до шести часов утра никто не имеет права покинуть гостиницу под страхом ареста. До сих пор не может забыть то парализующее, до той поры неизвестное ему чувство бессильного бешенства. Из окна гостиницы он видел парк и ближайшую улицу. Везде стояли милицейские фургоны с синими мигалками, а на газоне между деревьев, в саду перед гостиницей стояла БМП. Утром он включил телевизор и увидел на экране Ярузельского в генеральском мундире, делающего какие-то ужасные заявления и не скупящегося на угрозы. Те же самые угрозы доносились до него из специально поставленного на ресепшен радио, когда он покидал отель.

Ведомый каким-то иррациональным убеждением, что только там он поймет, что всё-таки произошло минувшей ночью в Польше, он взял в Сопоте такси и поехал в ту самую столовую недалеко от судоверфи. Он не знал точного адреса, но таксист по его рассказу о рабочих судоверфи в касках четко определил, какую столовку тот имел в виду. Несмотря на воскресенье и «военное положение», значение которого он пока не до конца понимал, столовая была открыта. Когда он вошел туда, кто-то быстро закрыл за ним дверь на ключ. За уставленными один к одному буквой «П» столиками сидели милиционеры. Там и сям на подносах среди грязных тарелок лежали белые милицейские жезлы и шлемы. Молодой офицер с несколькими звездочками на шапке, ничего не говоря, забрал его паспорт и приступил к допросу. Вел себя нагло, грубо и все время говорил на повышенных тонах. Он помнит, что специально отвечал только по-французски и постоянно, как шарманка, повторял одну лишь фразу: «Я вас не понимаю, я не

обязан отвечать на ваши вопросы, прошу соединить меня с французским посольством в Варшаве». После получаса таких разговоров он узнал, что «в собственных интересах» должен как можно скорее покинуть ПНР, лучше всего в течение ближайших двадцати четырех часов. Ему вручили командировочное удостоверение, дающее право проезда поездом до Варшавы, и приказали немедленно покинуть столовую.

В Варшаву он прибыл поздним вечером. В десять вечера начинается комендантский час. Вял такси, поехал в аэропорт. У него на руках был авиабилет с фиксированной датой возвращения – 29 декабря. Он надеялся, что в аэропорте Окенче ему удастся сдвинуть дату вылета. Ему уже хотелось поскорее вернуться домой, во Францию. Такси доехало до стоявшего поперек улицы танка и уложенной в несколько рядов колючки. Рядом с танком солдаты грелись у переносной печки. На отшибе, перед колючкой стоял выдавший виды автобус. В аэропорт можно было доехать только на нем и только тем, у кого на руках были авиабилеты. Ему повезло. Молодой солдатик не сообразил, где в билете стояла дата вылета, и пропустил его. Два часа пришлось мерзнуть в автобусе с другими иностранцами в ожидании, как им сказали, остальных пассажиров. В опустевшем аэропорте царил странная для этого места тишина. Повсюду были вооруженные солдаты и милиционеры. В бюро Air France он попросил дать ему позвонить домой, маме. Он понимал, что она волнуется. После многих телефонных разговоров ему удалось сменить резервацию билета. На следующий день ранним утром ему предстояло лететь с British Airways в Лондон, а оттуда – в Париж. В связи с возникшей ситуацией все западные авиакомпании с невиданной доселе солидарностью решили не отягощать пассажиров, желающих раньше срока покинуть Польшу, сборами, связанными со сменой даты вылета.

Дело шло к полуночи. С посадочным талоном и специальным документом его послали к дежурному офицеру. На военном газике его отвезли в маленький отель (кажется, назывался «Луна» или как-то так) рядом с аэропортом. Около четырех утра его разбудил страшный шум. В первое мгновение он подумал, что это выстрелы. Помнит, как вскочил с постели и подбежал к окну. Минуту спустя те же самые звуки раздались снова, только как будто с более далекого расстояния. Группа солдат шла по коридору и прикладами стучала в двери гостиничных номеров – так теперь будили пассажиров, отлетающих утренними самолетами. До сих пор он помнит страх, вызванный этой гостиничной услугой...

* * *

– Здесь лишь один только минус – очень уж суетное место, – вывел его из задумчивости ее голос. – Зато очень близко, это раз, и два – вы сами сейчас убедитесь, кофе здесь чудесный. Если вам здесь не очень, мы можем пойти еще куда-нибудь...

– Да что вы, совсем напротив, – прервал он ее, испугавшись. – Мне это место напомнило один бар, а вернее, одну столовую, и поэтому я немножко замечтался. Не думайте ничего плохого и простите, если что.

– Интересно, может, расскажете, что это за место? Конечно, если это не слишком личное.

Он рассказал ей о столовой в Гданьске, о том, как он неожиданно встретил введение военного положения вместе с Мазовецким и Куронем 13 декабря в «Гранд-отеле» в Сопоте, о том, с какими трудностями пришлось столкнуться, чтобы выехать тогда из Польши в понедельник утром, 14 декабря, а еще о своей депрессии и грусти, когда по возвращении в Нант он отслеживал по телевизору, газетам и по радио события в Польше. Добавил, что никак не мог смириться с тем, что там происходило и происходит. Рассказал ей, как с группой единомышленников из Нанта, не смирившихся с тем, что творилось в Польше, он регулярно ездил в Париж протестовать с флагами «Солидарности» перед польским посольством, слал петиции французским политикам, призывая их оказать давление на польский режим с тем, чтобы тот освободил интернированных; как организовывал сбор средств, которые потом тайно перевозились в Польшу и вручались семьям интернированных, и еще о том, как под конец марта восьмидесят второго года он отправился в Дюнкерк и на собранные студентами деньги купил там ксерокс, который капитан судна, отец одного из его приятелей, принял на борт и доставил в Цесцин, где лишь ему одному известными путями передал аппарат людям из «Солидарности».

Она внимательно слушала его, не прерывая рассказа. А когда он закончил, тихо сказала:

– Вы для моей страны сделали гораздо больше, чем большинство из нас, поляков. Признаюсь, вы меня растрогали своим рассказом. Но так неудачно из вашего повествования получается, что я, к сожалению, была – во всяком случае, официально, хоть и совершенно неосознанно, поскольку была тогда ребенком, – на совершенно противоположной стороне баррикады. Мой отец был

партаппаратчиком, хоть и не по убеждению, как мой бывший тесть. Возможно, вам это трудно понять, но у нас были люди, как, например, мой тесть, свято верившие в систему. В том, что мой отец просто конъюнктурщик, я убедилась в июне восемьдесят девятого года, когда Польша стала как бы наполовину свободной. И мой папаша, забыв всю свою коммунистическую биографию, вдруг воспылал совершенно непонятной для меня и моих сестер, а еще более – для моей бедной матери горячей любовью к Валенсе, хотя еще год назад собирался меня отлучить от семьи и вычеркнуть из завещания, когда я на первом курсе записалась в НСС. Вы хоть знаете, что такое НСС? Наверняка не знаете. Независимый Союз Студентов, такое студенческое движение, вроде того, что у вас было в Нанте, когда вы покупали ксерокс.

Достала из сумки сигареты и с улыбкой продолжила:

– Видите, как хорошо вышло, что я именно сюда привела вас в благодарность за охрану моей сумки. В противном случае я никогда бы и не узнала о столовой в Гданьске. У меня тоже слабость к заведениям такого рода. В Кракове, если вы пока не знаете, лучшее из них, еще со времен социализма, – бар «Под Филярками» на Старовисльной улице, практически в центре. Там дадут самый лучший и дешевый в городе грибной суп. Когда мне было лень готовить, я шла туда с судками и брала у них целые обеды. Мой бывший муж ни за что бы не вычислил, что это не я готовила. А у вас во Франции тоже есть такие бары-столовые?

– Есть, но не такие замечательные, как у нас в Польше.

– У нас в Польше?! Вы, значит, поляк? – удивилась она.

– Я знаю, что говорю с акцентом, но разве это что-нибудь значит? До конца жизни я буду говорить с акцентом. У всех иностранцев, впервые столкнувшихся с Польшей в зрелом возрасте, есть акцент. Слишком поздно я заговорил по-польски. Мозг можно обмануть, а голосовые связки с какого-то момента уже нет. Особенно те, что омывались французским вином, – хитро улыбнулся он. – Я живу в Польше вот уже – минуточку, посчитаю – вот уже шестнадцать лет. Что с того, что я родился во Франции, провел там свое детство и, скажем так, молодость, если я ощущаю себя поляком? Ведь именно здесь я пережил все самые светлые и самые мрачные моменты моей жизни.

– Какой еще акцент? По мне, так вы говорите просто гениально. Честное слово. Я не хотела вас обидеть. Вы в своей речи используете такие слова, которые рядовой поляк, и родившийся и учившийся тут, давно уже забыл. Ну а что касается легкого французского флера, так это только плюс вашей речи. Попробую угадать: вы ведь, наверное, работаете переводчиком в посольстве или журналистом, так? Во всяком случае, с польским языком вы имеете дело ежедневно, так?

– Факт, ежедневно. Впрочем, не сказал бы, что с речью людей особо образованных, хотя говорят они о делах очень важных.

Ее дальнейшие расспросы он ловко перенаправил на свою давнишнюю работу в театре; сказал, что режиссирует киноэтюды, снимаемые по его же собственным сценариям, что некоторые из них были награждены призами на фестивалях и что, когда у нее рассыпались листочки в трамвае, он ехал как раз на вокзал, откуда собирался поехать в Варшаву на встречу с продюсером, который сейчас наверняка оборвал все телефоны и места себе не находит. Но теперь это абсолютно неважно. Потому что, как она прекрасно заметила, он «свернул с намеченного пути». Ради нее. А что касается польского языка, то он постоянно совершенствует свои знания. Вот, например, совсем недавно он уже второй раз прочитал «Куклу» Болеслава Пруса. На сей раз практически без словаря. Книга его просто очаровала («„Кукла” – лучшая из всех польских книг» – так и сказал). Он думает, что если бы Прус родился во Франции, то был бы Прустом и его знали бы все. Это что касается польского, но и родной язык он тоже не забывает. Он рассказал, как, оставаясь в Польше, он окончил заочный лингвистический институт во Франции. Это было трудно, но оказалось очень полезным для дальнейшей жизни. За что он безмерно благодарен судьбе. Теперь у него есть не только прекрасно полиграфически исполненный французский диплом, но главное – право преподавать французский и английский в любой стране мира. Что он иногда и делает, хотя каждое такое преподавание с возвращением к настоящему французскому и выученному английскому отвлекает его от польского. А в последнее время на преподавание у него уходит по несколько часов каждый день.

– Не повезло вашей жене: никогда вас нет дома... Впрочем, если вообще найдется женщина, которая согласится на такое...

Он порывисто потянулся к сигаретам, что лежали рядом с чашкой кофе. Закурил и тут же ощутил сильнейшее головокружение.

Последний раз он курил больше четырех лет назад, когда первого ноября рано утром в камере нашли повешенного Антония. Тогда у него тоже закружилась голова. Из газет и книг, которые он собирал, Антоний соорудил себе высокий – почти на метр – эшафот. Залез на него, привязал к решетке порезанную на лоскуты и смоченную в воде простыню и спихнул ногой книги, на которых стоял. А чтобы никого не разбудить криком или хрипом, залепил себе рот пластырем. Как в жизни никому не хотел мешать своим существованием, так и минуту ухода из нее досконально продумал: не хотел будить людей. И не разбудил. На своей шконке оставил записку. Собственноручно написанную и собственноручно подписанную. Чтобы не затевали следствия. Это было скорее завещание в нескольких фразах, чем прощальное письмо, которое, как правило, пишут самоубийцы. Все заработанные за время своей многолетней отсидки в общем-то немалые деньги, а также полученный от родителей в наследство участок он передает церкви, на кладбище которой была похоронена его убитая сестра. Просил позаботиться о ее могилке. А еще он писал, что «если можно сделать исключение – ведь он сам себя порешил, что по всем законам божеским является тяжким грехом, – то он просил бы святого отца заступиться за него перед Господом Богом, а потом, если Господь Бог позволит, похоронить его рядом с Мартинкой, а уж на Страшном суде он Господу все сам расскажет и все объяснит». Все в таких подробностях он знает потому, что письмо было адресовано лично ему, так что начальник тюрьмы сначала был вынужден просить его прочитать письмо в присутствии прокурора и своего заместителя.

– Я не хотела задеть вас. Простите, пожалуйста. Я иногда бываю так неводержана на язык. Вы так побледнели. Вам что, плохо? – встревожилась она.

– Моя жена умерла. Много лет назад, – вдруг сказал он тихо без всякой, казалось, связи с заданным ею вопросом, помолчал и добавил: в октябре.

Он до сих пор не может понять, что заставило его так подло соврать. Он ведь не собирался разжалобить ее. Точно. Потому что тогда это открыло бы путь бесконечному коварству. Он ведь мог просто проигнорировать ее замечание. Никто его не тянул за язык, не заставлял ни врать, ни как на духу исповедоваться. Но когда в воздухе повисли слова «моя жена умерла», он так удивился, как будто эти слова произнес не он, а кто-то другой, сидящий рядом. Вопреки его воле, но его устами. Убить свою жену, а потом произнести вызывающие у любого человека сочувствие слова «моя жена умерла» и добавить для подтверждения истинности своих слов бессмысленное и не имеющее ни малейшего значения «в октябре»! До такого не додумался бы и сам Достоевский,

если бы ему пришлось еще раз описывать приемы Родиона Раскольникова. Старуха-процентщица «умерла вчера вечером в своей квартире», сказал бы спокойно Раскольников Разумихину, хотя на самом деле вчера вечером он размозжил ей голову топором.

Он почувствовал ее ладонь на своей руке. Не отдернул руку, хотя знал, что она заметит его дрожь.

– Мне жаль, что своим идиотским замечанием о вашей жене я так глупо влезла в вашу жизнь. Я не могла предположить...

– Побледнел? Это вам показалось, – попытался отговориться он, не давая ей закончить фразу. Он любой ценой хотел сменить тему разговора. – Просто я не должен курить. Всегда, если я долго не курю, то на первой же затяжке ощущаю головокружение. С вами так бывает?

– Да. Разумеется. У меня начинает кружиться голова, когда я закуриваю сигарету покрепче сразу после сна, перед первым утренним кофе. А ночь без сигареты – это совсем не так долго, – улыбнулась она. – Потому что я очень поздно ложусь спать и рано встаю. Поэтому утром я курю не те сигареты, что вечером. Вечером могут быть даже красные крепкие «мальборо». Утром после одной такой я была бы как под наркотиком.

Тема его жены в тот день больше не всплывала в их разговоре. И она, и он старательно обходили все моменты, которые могли бы задеть что-то очень личное. В кафе они просидели до вечера. На третьем часу их сидения улыбающаяся официантка в условно белом переднике уже приносила очередные чашки кофе, не дожидаясь заказа. Он рассказывал ей о своей работе над сценариями, о трудностях перевода слов и предложений в ситуации, события, сцены и в конце концов – в образы. О своем бесконечном восхищении гением Чехова, который как никто другой в литературе так писал свои пьесы, что их переложение в «театральные истории» происходит как бы само собой. Он знает, о чем говорит, потому что в рамках эксперимента он адаптировал и поставил Чехова с теми, кто не имел ни малейшего понятия о том, кто такой Чехов. Да что там Чехов: они не знали даже, что означает слово «пьеса», а Россия ассоциировалась у них исключительно с мафией. Она рассказывала ему, что она всего лишь «потребитель» того, что люди ставят или снимают, и что не хочет даже думать, что «за той магией», которая течет с экрана или со сцены, стоит «тяжелый труд». Без кино, театра она не смогла бы жить. Кино, театр и книги

помогли ей пусть немного, но заполнить пустоту, когда она думала, что никто на свете так не одинок, как она. Это ничего, что она не знает, по каким таким тайным тропам совершается переход от обычного сухого текста к переживаниям, чувствам, которые она испытывает в кино или в театре, она уважает тех, кто может эту дорогу сначала наметить, а потом и пройти, и считает их «чернокнижниками». Когда он спросил ее об учебе, она рассказала о своей причуде «на старости лет», как она это назвала. По настоянию родителей она давно уже отучилась и получила диплом по экономике, которую искренне ненавидела, а теперь вот заочно воплощает в жизнь свою мечту еще со школы – заканчивает философский факультет. В ее так называемой профессиональной жизни эта философия ей ничуть не пригодится, потому что философствование при калькуляции проектов скорее мешает, чем помогает. Но в обычной жизни философия очень полезна, причем не только философия стоиков, хитро добавила она. Сейчас она заканчивает работу над магистерской – сегодня у нее была последняя встреча с научным руководителем перед защитой – о том, как самоубийство трактуется в разных течениях философии. После этого сообщения он настойчиво стал вытягивать из нее всё, что она знает на эту тему. Дело дошло до того, что она осеклась и с наигранной претензией в голосе заметила:

– Боже мой, что за день! Встретила сегодня двух мужчин, и каждый хочет говорить со мной только о самоубийствах. Сначала – мой профессор, а теперь вы. У меня есть несколько книг на эту тему, могу дать почитать. Хотите?

Когда она взглянула на часы, он забеспокоился. В других жизненных обстоятельствах он обязательно предложил бы ей встретиться вновь, а сейчас в этом направлении идти было бессмысленно. Для встречи нужна увольнительная на краткосрочное свидание, а когда он получит ее – неизвестно. В этом деле не было никаких правил. Даже если он подаст прошение на имя начальника тюрьмы, то уверенности, что получит согласие, у него не было. Пауза затянулась, и тогда она сказала то, что поначалу испугало его:

– Если хотите, могу подбросить вам эти книги... Прекрасный предлог встретиться снова...

Потом она написала свой номер телефона на салфетке и положила ее рядом с чашкой. Он пообещал позвонить. Сам не знает, что им двигало в тот момент, но на блокнотном листке он написал свою настоящую фамилию и реальный адрес. Адрес тюрьмы. Она смотрела на листок, а он на нее – напряженно и беспокойно. Все ведь было так давно, былшем поросло, а он до сих пор каждый раз, когда

приходилось кому-нибудь представляться, называл не свою фамилию и не свое имя. Пусть и французское, но все равно не свое. Потому что его фамилия и имя были настолько в свое время растиражированы СМИ, что он каждый раз пугался человеческой памяти. А вот ей он не соврал, написал настоящее имя и настоящую фамилию. Она прочитала и ничего не сказала, не изменилась в лице, видимо, его фамилия не вызвала у нее никаких ассоциаций. И в отношении адреса она тоже не сообразила. Он даже пожалел, что так раскрылся, но понял, что соврать ей не смог бы. Из кафе они вышли, когда на улице было уже совсем темно. До трамвая они шли молча.

– Хорошо, что я тогда не подняла зеленую ленточку, – сказала она на прощание и поцеловала его в щеку.

Был одиннадцатый час ночи. Он мог вернуться из увольнения на день раньше – это его дело, – но не в столь поздний час, после отбоя. Так что пришлось как-то перекаптоваться этой ночью. Пошел на вокзал, а оттуда – в старый город. В киоске купил газеты. В подвальчике кабаре «Под баранами» шел концерт. Незамеченный, он спустился вниз, сел на барный табурет и оставался там до самого закрытия. Ночью пошел по улицам Казимежа[9 - Казимеж – живописный исторический район Кракова.]

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

«Певекс» – сеть валютных магазинов в ПНР.

2

Бальцерович Лешек (р. 1947 г.) – организатор и идейный вдохновитель польских экономических реформ 1990-х годов, известных под названием «шоковой терапии».

3

Увольнительная для краткосрочного свидания вне стен тюрьмы – одна из существующих в Польше форм поощрения и ресоциализации заключенных, вставших на путь исправления и отбывших определенную часть срока.

4

Мазовецкий Тадеуш (1927–2013) – один из лидеров движения «Солидарность» и первый послекоммунистический премьер-министр Польши.

5

Куронь Яцек (1934–2004) – диссидент и государственный деятель (министр труда и социальной политики в 1989–1990 гг.), яркий представитель польской оппозиции.

6

Ярузельский Войцех (1923–2014) – военный и государственный деятель. Министр обороны Польши (1969–1983), первый секретарь ПОРП (1981–1989), премьер-министр ПНР (1981–1985), председатель Госсовета ПНР (1985–1989) и первый президент посткоммунистической Республики Польша (1989–1990).

7

Валенса Лех (род. 1943 г.) – электрик по профессии, работавший на Гданьской судовой верфи, стал политическим деятелем, первым руководителем профсоюза «Солидарность», президент Польши (1990–1995), лауреат Нобелевской премии мира (1983).

8

Рулевский Ян (род. 1944 г.) – профсоюзный деятель, один из лидеров движения «Солидарность».

9

Казимеж – живописный исторический район Кракова.

Купить: <https://telnovel.com/ru/yanush-vishnevskiy/prosti-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)